

ИВАН  
ШМЕЛЕВ



Солнце мертвых



МОСКВА  
2024

◆ ВСЕМИРНАЯ  
ЛИТЕРАТУРА ◆



ИВАН  
ШМЕЛЕВ



Солнце мертвых



МОСКВА

УДК 821.161.1-31  
ББК 84(2Рос=Рус)6-44  
Ш72

Оформление серии *Н. Ярусовой*

**Шмелев, Иван Сергеевич.**

Ш72 Солнце мертвых / Иван Шмелев. — Москва : Эксмо, 2025. — 256 с. — (Всемирная литература (с картинкой)).

ISBN 978-5-04-200207-6

Иван Сергеевич Шмелев (1873–1950) — русский писатель и православный мыслитель, дважды номинированный на Нобелевскую премию.

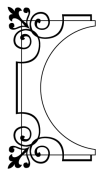
«Солнце мертвых» — роман-эпопея о жизни в большевистском Крыму в 1921–1922 годах. Роман, который позволяет посмотреть правде в глаза. Ужасы Гражданской войны, голод, бандитизм, потеря людьми человеческого облика — Шмелев стал свидетелем этих событий и мастерски передал все оттенки отчаяния. «День ото дня страшнее — и теперь горсть пшеницы дороже человека».

«Кошмарный, окутанный в поэтический блеск, документ эпохи... читайте, если у вас хватит смелости...». — Томас Манн.

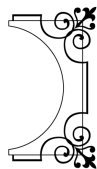
УДК 821.161.1-31  
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-04-200207-6

© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2025



## УТРО



**З**а глиняной стенкой, в тревожном сне, слышу я тяжелую поступь и треск колючего сушняка...

Это опять Тамарка напирает на мой забор, красавица симменталка, белая, в рыжих пятнах, — опора семьи, что живет повыше меня, на горке. Каждый день бутылки три молока — пенного, теплого, пахнущего живой коровой! Когда молоко вскипает, начинают играть на нем золотые блески жира и появляется пеночка...

Не надо думать о таких пустяках — чего они лезут в голову!

Итак, новое утро...

Да, сон я видел... странный какой-то сон, чего не бывает в жизни.

Все эти месяцы снятся мне пышные сны. С чего? Явь моя так убога... Дворцы, сады... Тысячи комнат — не комнат, а залы роскошных из сказок Шехерезады — с люстрами в голубых огнях — огнях нездешних, с серебряными столами, на которых груды цветов — нездешних. Я хожу и хожу по залам — ищу... Кого я с великой мукой ищу — не знаю. В тоске, в тревоге я выглядываю в огромные окна: за ними сады, с лужайками, с зеленеющими долинками, как на старинных картинах. Солн-

це как будто светит, но это не наше солнце... — подводный какой-то свет, бледной жести. И всюду — цветут деревья, нездешние: высокие-высокие сирени, бледные колокольчики на них, розы поблекшие... Станных людей я вижу. С лицами неживыми ходят, ходят они по залам в одеждах бледных — с икон как будто, заглядывают со мною в окна. Что-то мне говорит — я чую это щемящей болью, — что они прошли через страшное, сделали с ними что-то, и они — вне жизни. Уже — нездешние... И невыносимая скорбь ходит со мной в этих до жути роскошных залах...

Я рад проснуться.

Конечно, она — Тамарка. Когда молоко вскипает... Не надо думать о молоке. Хлеб насущный? У нас на несколько дней муки... Она хорошо запрятана по щелям — теперь опасно держать открыто: придут ночью... На огороδικе помидоры — правда, еще зеленые, но они скоро покраснеют... с десяток кукурузы, завязывается тыква... Довольно, не надо думать!..

Как не хочется подыматься! Все тело ломит, а надо ходить по балкам, рубить «кутюки» эти, дубовые корневища. Опять все то же!..

Да что такое, Тамарка у забора?.. Сопенье, похлестывание веток... обглаживает миндаль! А сейчас подойдет к воротам и начнет выпирать калитку. Кажется, кол приставил... На прошлой неделе она выперла ее на колу, сняла с петель, когда все спали, и сожрала половину огорода. Конечно, голод... Сена у Вербы нет на горке, трава давно погорела — только обглоданный граб да камни. До поздней ночи нужно бродить Тамарке, выискивать по глубоким балкам, по непролазным чашам. И она бродит, бродит...

А все-таки подыматься надо. Какой же сегодня день? Месяц — август. А день... Дни теперь ни к чему,

и календаря не надо. Бессрочнику все едино! Вчера донесило благовест в городке... Я сорвал зеленый «кальвиль» — и вспомнил: Преображение! Стоял с яблоком в балке... принес и положил тихо на веранде. Преображение... Лежит «кальвиль» на веранде. От него теперь можно отсчитывать дни, недели...

Надо начинать день, увертываться от мыслей. Надо так завертеться в пустяках дня, чтобы бездумно сказать себе: еще один день убит!

Как каторжанин-бессрочник, я устало надеваю тряпье — милое мое прошлое, изодранное по щазам. Каждый день надо ходить по балкам, царапаться с топором по кручам: заготавливать к зиме топливо. Зачем — не знаю. Чтобы убивать время. Мечтал когда-то сделаться Робинзоном — стал. Хуже, чем Робинзоном. У того было будущее, надежда: а вдруг — точка на горизонте! У нас не будет никакой точки, вовек не будет. И все же надо ходить за топливом. Будем сидеть в зимнюю долгую ночь у печурки, смотреть в огонь. В огне бывают видения... Прошлое вспыхивает и гаснет... Гора хворосту выросла за эти недели, сохнет. Надо еще, еще. Славно будет рубить зимой! Так и будут отскакивать! На целые дни работы. Надо пользоваться погодой. Теперь хорошо, тепло — можно и босиком или на деревяшках, а вот как задует от Чатырдага, да зарядят дожди... Тогда плохо ходить по балкам.

Я надеваю тряпье... Старьевщик посмеется над ним, в мешок запхает. Что понимают старьевщики! Они и живую душу крючком зацепят, чтобы выменять на гроши. Из человеческих костей наварят клею — для будущего, из крови настряпают «кубиков» для бульона... Раздолье теперь старьевщикам, обновителям жизни! Возят они по ней железными крюками.

Мои лохмотья... Последние годы жизни, последние дни — на них последняя ласка взгляда... Они не пойдут старьевщикам. Истают они под солнцем, истлеют в дождях и ветрах, на колючих кустах по балкам, по птичьим гнездам...

Надо отворить ставни. А ну-ка, какое утро?..

Да какое же может быть утро в Крыму, у моря, в начале августа?! Солнечное, конечно. Такое ослепительно-солнечное, роскошное, что больно глядеть на море: колет и бьет в глаза.

Только отпахнешь дверь — и хлынет в защуренные глаза, в обмятое, увядающее лицо солнцем пронизанная ночная свежесть горных лесов, долин горных, налитая особенной, крымской, горечью, настоявшеюся в лесных щелях, сорвавшеюся с лугов, от Яйлы. Это — последние волны ночного ветра: скоро потянет с моря.

Милое утро, здравствуй!

В отлогой балке — корытом, где виноградник, еще тенисто, свежо и серо; но глинистый скат напротив уже розово-красный, как свежая медь, и верхушки молодок-груш, понизу виноградника, залиты алым гляncем. А хороши молодки! Прибрались, подзолотились, повешали на себя тяжелые бусы-грушки — марилуиз.

Я тревожно обыскиваю глазами... Целы! Еще одну ночь провисели благополучно. Не жадность это: это же хлеб наш зреет, хлеб насущный.

Здравствуйте и вы, горы!

К морю — малютка гора Кафель, крепость над виноградниками, гремящими надалеко славой. Там и золотистый «сотерн» — светлая кровь горы, и густое «бордо», пахнущее сафьяном, и черносливом, и крымским солнцем! — кровь темная. Сторожит Кафель свои виноградники от стужи, греет ночами жаром.

В розовой шапке она теперь, понизу темная, вся — лесная.

Правее, дальше — крепостная стена-отвес, голая Куш-Кая, плакат горный. Утром — розовый, к ночи — синий. Все вбирает в себя, все видит. Чертит на нем неведомая рука... Сколько верст до него, а — близкий. Вытяни руку и коснешься: только перемахнуть долину вниз и взгорья, все — в садах, в виноградниках, в лесах, балках. Вспыхивает по ним невидимая дорога пылью: катит автомобиль на Ялту.

Правее еще — мохнатая шапка лесного Бабугана. Утрами золотится он; обычно — дремуче-черен. Видны на нем щетины лесов сосновых, когда солнце плавится и дрожит за ними. Оттуда приходит дождь. Солнце туда уходит.

Почему-то кажется мне, что с дремуче-черного Бабугана сползает ночь...

Не надо думать о ночи, о снах обманных, где все — нездешнее. Ночью они вернуться. Утро срывает сны: вот она, голая правда, — под ногами. Встречай же его молитвой! Оно открывает дали...

Не надо глядеть на дали: дали обманчивы, как и сны. Они манят и — не дают. В них голубого много, зеленого, золотого. Не надо сказок. Вот она, правда, — под ногами.

Я знаю, что в виноградниках, под Кастелью, не будет винограда, что в белых домиках — пусто, а по лесистым взгорьям разметаны человеческие жизни... Знаю, что земля напиталась кровью, и вино выйдет терпким и не даст радостного забытья. Страшное вписала в себя серая стена Куш-Кай, видная надалеко. Время придет — прочтется...

Я уже не гляжу на дали.

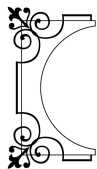
Смотрю через свою балку. Там — мои молодые миндали, пустырь за ними.

Каменистый клочок земли, недавно собиравшийся жить, теперь — убитый. Черные рога виноградника: побили его коровы. Зимние ливни роют на нем дороги, прокладывают морщины. Торчит перекасти-поле, уже отсохшее: заскачет — только задует Север. Старая татарская груша, дуплистая и кривая, годы цветет и сохнет, годы кидает вокруг медовую желтую «буздурхан», все дожидает смены. Не приходит смена. А она, упрямая, ждет и ждет, наливает, цветет и сохнет. Затаиваются на ней ястреба. Любят качаться вороны в бурю.

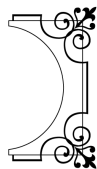
А вот — бельмо на глазу, калека. Когда-то — Ясная Горка, дачка учительницы екатеринославской. Стоит — кривится. Давно обобрали ее воры, побили стекла, и она ослепла. Осыпается штукатурка, показывает ребра. А все еще доматываются в ветре повешенные когда-то сушиться тряпки — болтаются на гвоздях, у кухни. Где-то теперь заботливая хозяйка? Где-то. Разрослись у слепой веранды вонючие укусные деревья.

Дачка свободна и бесхозьяна — и ее захватил павлин.





## Птицы



**П**авлин... Бродяга-павлин, теперь никому не нужный. Он ночует на перильцах балкона: так не достать собакам.

Мой когда-то. Теперь — ничей, как и эта дачка. Есть же ничьи собаки, есть и люди — ничьи. Так и павлин — ничей.

Я не могу содержать его, роскошь эту. Он это понял и поселился на пустыре. Мы — соседи. Он как-то ухитряется жить. Пережил зиму и выпустил-таки хвост новый, хоть и не совсем прежний. Временами захаживает ко мне. Станет под кедром, где когда-то дремал в жары, поглядывает и ждет-пытает:

— Не дашь?..

— Не дам. Видишь — ничего нету, Павка.

Поведет коронованной головкой, хвост иногда распустит:

— Не дашь?!

Постоит и уйдет. А то взмахнет на ворота, повернется-потанцует:

— Смотри-ка, какой красивый! Не дашь...

И слетит на пустую дорогу, блеснет зелено-золотистым хвостом. Там и там покричит-позовет по балкам — пава, может, откликнется! Глядишь — уж опять

бродит у своей одинокой дачки. А то придется за горку, в Тихую Пристань, к Прибыткам: там дети — чего и дадут, может. Вряд ли: там тоже плохо. Или к Вербе, на горку: там иногда дают ребятишки в обмен на перья. А то повыше, на самый тычок, к старому доктору. Но там и совсем плохо.

Недавно он жил в довольстве, ночевал на крыше, а дни проводил под кедром. Собирались найти ему подругу.

Мне его больно видеть.

— ...Э-оу-ааа!.. — пустынным криком кричит павлин. Жалуетея? Тоскует?

Его разбудило утро. И для него теперь день — в работе.

Поднялся, расправил серебристые крылья в палево-розовой опушке, выправил горделиво голову — черноглазой царицей смотрит. На старую грушу смотрит и вспоминает, что «буздурхан» обобран. Ну, кричи же! Кричи, что и ты ограблен! Сияя голубым фиолетом в солнце, вдумчиво ходит он по балкону, шелковым хвостом возит — приглядывается к утру... И — молнией падает в виноградник.

— Ш-ши... несчастный!..

Он теперь не боится крика: вьется змеей-хвостом в лозах, оклевывает зреющие гроздья. Вчера было много исклеванных. Что же делать! Все хотят есть, а солнце давно все выжгло. Он становится дерзким вором, красавец с царственной поступью. Он открыто грабит меня, лишает хлеба: ведь виноградником питаться можно! Я выбиваю его камнями, он все понимает, зелено-голубой молнией юркает-вьется между лозами, змеится по розовой осыпи и пропадает за своей виллой. Кричит пустынно:

— ...Э-оу-ааа!..

Да, теперь и ему плохо. Желудей в этом году не уродилось; не будет и на шиповнике ничего, и на ажине — все усохло. Долбит, долбит павлин сухую землю, выклеывает дикий чеснок, лук гадючий, — от него остро пахнет чесночным духом.

Летом он ходил в котловину, где греки посеяли пшеницу. Индюшка с курочками тоже ходила на пшеницу, которую стерегли греки. Пшеница теперь богатство! Даже ночевали греки в котловине, у огонька сидели, прислушивались к ночи. Много у пшеницы врагов, когда наступает голод.

Бедные мои птицы! Они худеют, тают, но... они связывают нас с прошлым. До последнего зернышка мы будем делиться с ними.

Солнце уже высоко ходит — пора выпускать куриное семейство. Несчастливая индюшка! У ней не было пары, но она упорно сидела и не брала корма. И добились: высидела шестерку курочек. Чужим, она отдала им свою заботу. Она научила их засматривать в небо одним глазом, ходить чинно, подтягивая лапки, и даже перелетать балку. Она принесла нам отрадную заботу, которая убивает время.

И вот на ранней заре, чуть забелеет небо, выпустишь подтянутую индюшку.

— Ну, ступайте!

Она долго стоит, круглит на меня то тем, то другим глазом: покормить бы надо! А ее кроткие курочки, белеенькие, одна в одну, вспархивают ко мне в руки, цапаются за мои лохмотья, настойчиво, глазами просят, стараются уклонуть в губы. Пышные, они день ото дня пустеют, становятся легкими, как их перья. Зачем я их вызвал к жизни?! Обманывать пустоту жизни, наполнить птичьими голосками?..

— Простите меня, малютки. Ну, веди их туда... индюша!

Она знает, что нужно делать. Она сама отыскала «пшеничную» котловину и понимает, что греки ее гоняют. Грабом и дубнячком прокрадывается она в расвете, ведет курочек на кормежку, на самый край котловины, где подходит к кустам пшеница. Юркнет со стайкой, заведет в самую середину — и начинают кормиться. Крепким носом она срывает колосья и расшелушивает зерна. Держится целый день, томясь жаждой, и, только когда стемнеет, уводит к дому. Пить! Пить! Воды у меня довольно. Пьют они долго-долго, словно качают воду, и мне приходится усаживать их на место: они уже ничего не видят.

Меня немного мучает совесть, но я не смею мешать индюшке. Не мы с нею сделали жизнь такую! Воруй, индюшка!

Павлин тоже прознал дорогу. Но — вымахнет хвостом из пшеницы и попадетя грекам. Они поднимают крик, гонят воров и приходят к моим воротам:

— Циво, цорт, пускаишь?! Сицась убивай курей!

Их худые, горбоносые лица злобны, голодные зубы до жути белы. Они и убить могут. Теперь все можно.

— Убей! Сам сицас убивай прокляти воры!..

Это мучительные минуты. Убивать я не в силах, а они правы: голод. Держать птицу — в такое время!

— Я не буду, друзья, пускать... И всего-то несколько зерен...

— А ты их сеил? Последни зерно из глотки вирьвал! Тебе нада голову сшибаем! Все памирать будим!..

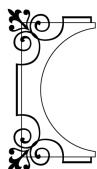
Они долго еще кричат, стучат палками по воротам — вот-вот ворвутся. Неистово, непонятно кричат, нажиливая потные шеи, выпяливая сверкающие белки, обдавая чесночным духом:

— Курей убивай! Теперь суда нема... сами будим!..

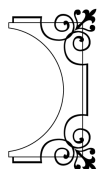
В их криках я слышу ревы звериной жизни, древней пещерной жизни, которую знавали эти горы, которая опять вернулась. Они боятся. День ото дня страшнее — и теперь горсть пшеницы дороже человека.

Давно убрали греки пшеницу: тюками, в мешках уносили в город. Ушли — и пшеничная котловина закипела жизнью. Тысячи голубей — они хоронились от людей где-то — голубились теперь по ней, выискивали осыпавшиеся зерна; дети целыми днями ерзали по земле, выбирая утерянные колосья. И павлин, и индюшка с курочками кормились. Теперь их гоняли дети. Ни зернышка не осталось — и котловина затихла.





## ПУСТЫНЯ



**А** что Тамарка?..  
Она уже оглодала миндали, сжевала давшиеся через ограду ветки. Повисли они мочалками. Теперь их доканчивает солнцем.

Громяхают ворота. Это Тамарка рогами выдавливает калитку.

— Ку-ддааа?!

Вижу я острый рог: просунула-таки в щель калитки, ломится в огород. Манит ее сочная, зеленая кукуруза. Шире и шире щель, всовывается розовый шагрень носа, фыркает влажно-жадно, слюну пускает...

— На-ззад!!

Она убирает губы, отводит морду. Стоит неподвижно за калиткой. Куда же еще идти?! Везде — пусто.

Вот он, наш огородик... жалкий! А сколько неистового труда бросил я в этот сыпучий шифер! Тысячи камня выбрал, носил из балок мешками землю, ноги избил о камни, выцарапываясь по кручам...

А для чего все это?! Это убивает мысли.

Выберешься наверх горы, сбросишь тяжкий мешок с землю, скрестишь руки... Море! Глядишь и глядишь через капли пота — глядишь сквозь слезы... Синяя даль какая! А вот за черными кипарисами — низенький,

скромный, тихий — домик под красной крышей. Неужели я в нем живу? В саду — ни души, и кругом — пустынно: никто не проедет за день. Маленький, с голубка, павлин по пустырю ходит — долбит камень. Тишина какая! Весенними вечерами хорошо поет черный дрозд на сухой рябине. Горам попоет — повернется к морю. Споет и морю, и нам, и моим деревцам миндальным в цветах, и домику. Домик наш одинокий!.. Отсюда видно его изъяны. Заднюю стенку дожди размыли, камни торчат из глины, — надо до осенних дождей поправить. Придут дожди... Об этом не надо думать. Надо разучиться думать! Надо долбить шифер мотыгой, таскать землю мешками, рассыпать мысли.

Бурей задрало железо — пришлось навалить по углам камни. Кровельщика бы надо... И кровельщика, пожалуй, не осталось. Нет, старый Кулеш остался: стучит колотушкой за горкой, к балке, — выкраивает соседа из старого железа печки. В степь повезут выменивать на пшеницу, на картошку... Хорошо иметь старое железо!

Стоишь — смотришь, а ветерок с моря обдувает. Красота какая!

Далеко внизу — беленький городок с древней, от генуэзцев, башней. Черной пушкой уставилась она косо в небо. Выбежала в море игрушечная пристань — скамеечка на ножках, а возле — скорлупка-лодка. Сзади — плешинной Чатырдаг синее, Палат-Гора... Там седловина перевала... выше еще — и смотрит вихром Демерджи. Орлы живут по ее ущельям. Дальше — светлые цепи голых, туманно-солнечных гор Судакских...

Хорош городок отсюда — в садах, в кипарисах, в виноградниках, в тополях высоких. Хорош обманчиво. Стеклышками смеется! Ласковы-кротки белые доми-

ки — житие мирное. А белоснежный Дом Божий крестом осеняет кроткую свою паству. Вот-вот услышишь вечернее — «Свете тихий»...

Я знаю эту усмешку далее. Подойди ближе — и увидишь... Это же солнце смеется, только солнце! Оно и в мертвых глазах смеется. Не благодстная тишина эта: это мертвая тишина погоста. Под каждой кровлей одна и одна дума — хлеба!

И не дом пастыря у церкви, а подвал тюремный... Не церковный сторож сидит у двери: сидит тупорылый парень с красной звездой на шапке, зыкает-сторожит подвалы:

— Эй!.. отходи подале!..

И на штыке солнышко играет.

Далеко с высоты видно! За городком — кладбище. Сияет на нем вся прозрачная, из стекла, часовня. Какая роскошь... не разберешь, что в часовне: плавится на ее стеклах солнце.

Обманчиво хороши сады, обманчивы виноградники! Зброшены, забыты сады. Опустошены виноградники. Обезлюжены дачи. Бежали и перебиты хозяева, в землю вбиты! — и новый хозяин, недоуменный, повыбил стекла, повырывал балки... повыпил и повылил глубокие подвалы, в кровине поплавал, а теперь, с праздничного похмелья, угрюмо сидит у моря, глядит на камни. Смотрят на него горы...

Я вижу тайную их улыбку — улыбку камня...

Сереет под Демерджи обвал — когда-то татарская деревня. Века глядела гора в человечье стойло. И показала свою улыбку — швырнула камнем. Да будет каменное молчание! Вот уж идет оно.

Что, Тамарка? И ты, бедняга, попала в петлю... А примириться не хочешь: упрямо стучишь копытом, бьешь головой в ворота! Похудела же ты, бедняга...

Она тупо глядит на мою поднятую руку стеклянными глазами, синими с неба и ветряного моря. Да куда же еще идти?! Ее бока провалились, выперло кости таза, а хребет заострился и изъеден кровопийцами мухами и слепнями. Сочится сукровица из ранок: там уже свербит червивое потомство, зреет в теплоте язвы. Вымя ее вытянулось и потемнело, подсохли-поморщились сосочки, ничего не вытянут из нее сегодня хозяйские руки.

— Ступай же... нету!..

Она не верит. Она же знает великую силу человека! Не может она понять, почему не кормит ее хозяин...

И я не могу понять, Тамарка... Понять не могу, кому и зачем понадобилось все обратить в пустыню, залить кровью! А помнишь, еще недавно каждый мог тебе дать кусок душистого хлеба с солью, каждый хотел потрепать твои теплые губы, каждый радовался на твое ведерное вымя. Кто же это выпил и твои соки? Каждую весну ты носила, а теперь ходишь пустая и не прибавила на рогах колечка!..

В ее стеклянных глазах я вижу слезы. Немые, коровьи слезы. Голодная слюна тянется-провисает к колючей ажине, которую она жевала. С усилием отрывает она глаза от кукурузы, поворачивает от калитки и... смотрит в море. Синее и пустое. Она его хорошо знает: синее и пустое. Вода и камни.

Смотри и я... Сколько хочешь смотри — и так, и этак.

Прямо смотри: не видная Азия, Трапезунд. Там Кемаль-Паша воюет со всеми народами на свете; побил и греков, и англичан, и французов, и итальянцев — всех побил-потопил в славном турецком море.

Пошептывают прижухнувшие татары:

— Це-це-це... Кемал-Паша! Крым идет... пылымот стрелят, балшивит тикал! Хлэб будит, чурэк-чебурэк...